

СЛАВЯНЕ И ВАРЯГИ

СОЧИНЕНИЕ

А. Е. РАЗИНА

ИЗДАНИЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ
С.-Петербургъ—Москва

Цѣна 15 коп.

Славяне и варяги (860 г.). Исторический рассказ //Издание т-ва М. В.
Вольфъ, Москва, 1914
FB2: "a53 ", 132349041713650000, version 1
UUID: {1359324A-5B13-49F9-B87F-E4CB1C51D5A9}
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Алексей Егорович Разин

Славяне и варяги (860 г.)

Алексей Разин
СЛАВЯНЕ И ВАРЯГИ
(860 г.)
Исторический рассказ



I

СЛАВЯНЕ И ВАРЯГИ

*Благословите, братцы, старину ска-
зать.*

ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ И КАКЪ СТАЛА БЫТЬ

СЛАВЯНЕ И ВАРЯГИ

(860 г.)

⋈

ИСТОРИЧЕСКІЙ РАЗСНАЗЪ

А. Е. РАЗИНА



Съ рис. Н. Дмитріева-Оренбургскаго

⋈

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

⋈



ИЗДАНИЕ

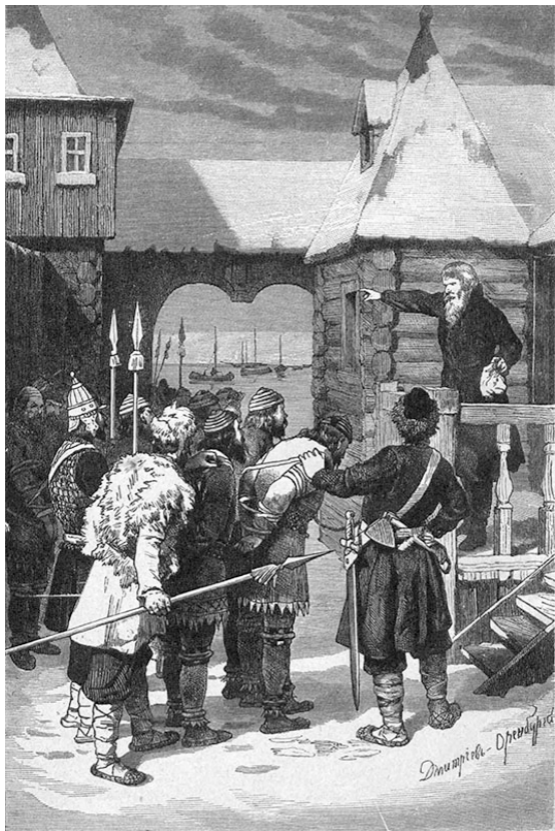
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-Петербургъ

Москва

Гостин. Дв., 18 и Певскій, 13 || Кузн. Мостъ, 12 и Мохомат, 22

1913





ЛЕТ слишком тысячу тому назад, там, где речка Назья впадает в реку Ловать, сидел великий старинный род Богомила. С тех пор как люди себя помнят, с тех пор как прадедовские сказания стали доходить до правнуков, на речке Назье сидел великий, древний род, и прадеды сказывали, что их деды от своих пращуров слышали о вековечной древности этого населения на Назье: это был коренной словенский род, а пришел он на место из теплого края, с великой реки Дуная, а та река тоже словенская от века. А на той реке Назье жили все свои люди, вся родня, и старшина у них старик Богомил, дедушка всему народу на Назье, а иные зовут его князем. Его род живет и

по Ловати, а ниже еще, по той же Ловати, у самого озера Ильменя и по озеру, живет другой род, Борислава, и считается младшим. Он в старину выселился туда с Назьи. Еще моложе Бориславова рода по другой стороне озера сидит в новеньком городке на Волхове род Гостомысла. На Шелони опять есть род помоложе, и в нем старшина Крок, столетний старец, и еще много разных родов и на озерных верховьях реки Волги, и на Вышере, и ниже по Волхову в порогах. И все это свои люди, словенский народ, красивый, рослый, краснощечный, русый, с серыми глазами, не то что соседи, чудь белоглазая, что с льяняными волосами, или варяги красноволосые. И жили словенские роды по берегам своих рек и озер, спокойно и мирно ловили рыбу и зверей, сеяли хлеб, а случалось — также и дрались, когда с соседями, а когда и между собой. Однажды драка случилась вот из-за чего.

Один молодой рыбак из Богомилова рода, но имени Путша, в самый праздник Красной Горки, забрался в Бориславов род и среди веселых игрищ и хороводов уговорил красавицу Людмилу уйти с ним на Назью и стать его

женою. Так и сделалось. Через два или три дня Путша привел свою жену к дедушке Богомилу, объявился, а старшина спросил его, как и следовало по обычаю, есть ли у него чем заплатить за выкраденную жену, потому что ее род непременно потребует вено, то-есть плату родственникам за девушку. Путша отвечал, что вено у него готово. Тем дело и кончилось. Бориславов род хватился пропажи и сначала бросился за озеро, в новый город, потому что на празднике были молодые ребята и оттуда; но там Людмилы не было. Скоро однако прошел слух, что она благополучно проживает на Назье. Приехал брат Людмилы и требует вено не в сорок соболей, как приготовил Путша, а два сорока с половиной да полсорока золотников, то-есть цареградских червонцев. Путша прогнал родню своей жены и пришел жаловаться старшине Богомилу. А старшина его прогнал и крепко наказал, чтоб он дело покончил как знает, только миром. Торговались долго и дело дошло до того, что Ловать уперлась на своей цене, а Назья на своей. Чтоб уладить дело, Ловать согласилась отдать весь спор на суд третьему, Гостомыслу

из нового города.

По этому случаю Богомил созвал вече в самый Купальный день на стрелке, где Назья впала в Ловать. Большой был праздник, и потому было жертвоприношение богу Перуну. Богомил зарезал на костре белого козленка и черного петуха, зажег костер и затянул песнь в честь бога и отошел к старикам, а молодежь осталась плясать и петь вокруг горящего костра. Он мог бы распорядиться и сам, потому что весь его род был его семьей, а он был глава; но из осторожности он решился посоветоваться. Рассказав все дело старикам, он прибавил:

— Теперь уже не о Путше речь, не о Людмиле, не о том, велико ли надо заплатить вено и не дорого ли просят. И соболя, и золотники у нас найдутся, да найдутся также и кулаки, чтоб отломать бока бориславовскому роду. Это не порядок, чтобы младший род упрямылся и не уступал старшему. Наши пращуры вперед сели по Назье, а отсюда пошли колена на Ловать, на Ильмень, на Шелонь, на Волхов. Против Назьи и новый город молод: выселок наш, и только. Стало быть не обидно ли будет

взять нам Новгород судьбою? Не будет ли от этого ущерба нашему роду? И не лучше ли упереться и погодить?...

Советов было много; одни говорили, что надо заплатить, развязаться, а Путшу отдать и с женою в кабалу на три года тому, кто возьмется за него заплатить. Другие советовали ничего не платить, а обломать только бока всей Ловати. Третий советовал погодить и посмотреть что будет. Один из советников, Стемир, ходивший с варягами в Царьград и привыкший расправляться по-варяжски, говорил, что надо сначала заплатить вено, а потом налететь на озеро и ободрать бориславовцев как липку. Спорили долго, говорили много, кричали, ссорились и решили на том, чтобы взять судьей Гостомысла новгородского, потому что война и ссора есть дело богам неуютное. Не дожидаясь конца праздника, шесть стариков с Богомилом сели в большую ладью, взяли человек пять гребцов-охотников из молодежи и поплыли вниз к озеру. Они попали на устье Ловати к вечеру первого дня праздника, были приняты Бориславом с почетом и радушием, как следовало по обы-

чаю, поужинали роскошно и сыто и заночевали. На другой день, тоже к вечеру, ладьи Борислава и Богомила, пробившись на озере с противным ветром, вошли в Волхов и через несколько времени уж бросили сходни на крутой левый берег, застроенный по верху ла-чугами, шалашами, мазанками и избами и обнесенный высоким частоколом. Это был новый город, Новгород. Был только второй день Купального праздника. Хороводные песни по воде были далеко слышны; народ толпился на берегу, и тотчас нашлись охотники проводить приезжих стариков к старшине-князю. Гостомысл пировал с новгородскими старшинами и с одним гостем, старшиною с волховских порогов. В тот день, конечно, не удалось завести речь о деле. Употчиванные за ужином, гости мирно проспали до утра. А на другой день Гостомысл позвал их в просторную избу, построенную для совещаний, и прямо преступлено было к делу. Выслушав все дело и согласие обеих сторон выбрать его на этот случай судьей, Гостомысл низко поклонился гостям во все стороны, усердно благодарил за почет, ему оказанный, за доверие, но

тотчас прибавил, что он судить не будет, потому что добра от этого не ждет, и униженно просит уволить его от такой тяжелой обязанности.

Приезжие старики не ожидали такой дерзости и смотрели на него гневно. Словоохотливый старик объяснил им свой отказ.

— Не прогневайтесь, господа честные, — говорил он с поклонами, — взыщите с меня какую хотите пеню, только не принуждайте давать суд; и первое дело: суд без расправы все равно, что лук без стрелы, что ладья без весел. По моему выходит, уж если рассудил, то и расправься так, как по суду вышло; а если нет власти расправиться, так лучше не срамиться. А другое дело: у нас завсегда судья виноват и терпит похмелье не в своем пиру, а в чужом. Вот тоже не хуже вашего в прошлом году выбрали меня судьей наши с порогов и Ижора с невского устья. Я, грешным делом, рассудил как умел и вышла у меня Ижора, народ смирный, тоже из Чуди белоглазой, права. И что же? Наши же, с порогов, меня и побили, отчего так рассудил. А третье дело: что же Новгород за судья матушке нашей Назье?

Ведь мы все и прадеды наши с Назьи пошли, так не вернее ли будет нам к ней судиться ездить, а не то, чтобы се судить? Есть и четвертое дело, господа честные: речь идет у вас не о соболях, не о золотниках; об этом и разговору бы не было. У вас посеяно было вено, а выросла война и ссора. Обе стороны уперлись не за соболей, а за то, что вот я сам себе господин, а своего носа ко мне не суй и тебе я не поклонюсь ни в чем.

Как ни отговаривался старик от решения спора, но спорщики ничего не хотели слушать.

— Нехорошо, отец, нехорошо, — говорил с важностью Богомил, — мы сюда пришли не старшинством считаться и выбрали тебя не за то, что ты городской старшина. Город нам не указ, и Назьи знает не хуже кого другого, что она здесь в переднем углу сидит. А за то мы тебя выбрали, что у тебя ум и разум есть, и не купленный, а свой, и за то, что Новгород моложе Назьи и моложе Ловати, и от суда не постареет он, не станет старше отца, деда и прадеда.

Долго отнекивался Гостомысл, потом, еще

раз подробно переспросив обе стороны, немножко подумал и наконец сказал:

— У нас в городе, дедушка Богомил, вено как-то уж не то стало. У вас, под деревьями, вено, по старине, платится родителям или родичам, если девушка выходит из своего рода в другой, а если остается в роде и выходит замуж за родича, то считается, что грех — вено взять, и тогда жених только дарит родню невесты чем захочет, без торгу. Вам, положим, без этого нельзя. Отдать девушку из своего рода в чужой невыгодно: работница для рода пропадает, а замужем станет работать на чужой род. Стало быть тот, кто ее берет, должен заплатить за ее прокорм, за все то время, как она на свете живет. А в городе у нас другое дело. Всех родов живет у нас пять, и стали уж путаться, со счету сбиваться; да и опять же девушек в городе много, народ у нас гулящий, непосед: тот на Волге с козарами торгует, тот за товарами уехал на Белоозеро, в Весь, тот в Кривичах продает, тот с Варягами шляется. Девушки и сидят, и мы за них вена не просим, а пожалуй еще и приданое даем, а уж по крайней мере за невестой идет столько

приданого, сколько от жениха заплачено в вено. Так бы и в деревнях надо: пусть бы один род брал девушку у другого безо всякого выкупа, без вена, потому это дело меновое: сегодня мы у них взяли девушку, а завтра они у нас возьмут и — в расчете. Стало быть мой совет такой, чтобы Назья ничего не платила, с уговором, что и Ловать ничего не заплатит, если и им случится вывезти невесту с Назьи.

Крепко призадумались обе стороны, когда Гостомысл отвесил им свои поклоны на закуску. Борислав и старики его неласково простились с хозяином, сердито спустились по тропинке крутого берега к Волхову и с гневом стали усаживаться в свою ладью. Пока дожидались они своей молодежи, замешавшейся в городские хороводы, так как был третий день праздника, гнев старика понемногу выступал наружу.

— Рассудил! — ворчал он себе в бороду, но понемногу говорил громче и громче. — Вот уж рассудил! А еще говорят — ум-разум некупленный! Это у него, выходить, не разум в голове, а солома одна. Хороша голова — соломой набита!.. Вена не брать! Да если так, так

лучше на свете не жить! Голова! Да разве он установил вено, что он его отменяет? С прадедов наших, с тех пор как свет стоит, вено установлено, а он: не над! И точно что солома! Отцами и дедами установлено, а он: не надо! Чудное дело! Это не суд, не правда, а одна только кривда! Это он только в угоду старой лисице Богомилу так решил дело, чтобы эта Назья поганая только нас, озерных, на смех подымала, чтобы нашему роду прохода нигде не было. Это я знаю, это не спроста, потому что у кого же язык поворотится против старины слово сказать? У них это давно задумано, чтобы наше озеро Ловати да Волхову в кабалу отдать. Чуть зима, так где же рыбки половить, как не на озере? А в заморозки где тростнику нарезать, как не на озере? Что же? В кабалу мы им не дадимся, это уж пусть они не думают...

— Да, — заметил задумчиво один белый как лунь старик, — старину колебать не годится! Кто старину колеблет, тот сам в старики по попадет!..

— Он пусть лучше не думает старину поколебать, — подхватил Борислав, — что деды

установили, того пустыми речами не сдвинешь, боги этого не потерпят. Вено! Вено установлено потому, что нашему роду, например, нужна жена и работница — ну и заплати за нее, если в своем роде нет. И век будет мир стоять, и вено будет стоять!..

Старики разжигали друг друга и гнев их расходился до того, что Борислав своими руками прорубил дно у ладьи Богомила и велел одному из молодцов принести с берега навозу и разбросать его по лавкам ладьи. Раздосадованные старики, очень довольные тем, что повредили богомиловцам и нанесли им оскорбление, отчалили от берега.

Богомил, совершенно довольный решением, побеседовал еще с Гостомыслом и потом вместе с ним пошел посмотреть хороводы. Обошли они два конца, посмотрела два хоровода, но подходя к третьему, услышали, как Ловать обидела, опозорила не только старшину-князя с Назьи, но и самого старшину-князя Гостомысла, у кого Богомил в это время был гостем. Тут волосы поднялись на голове у Гостомысла. Как? Оскорбить так тяжело гостя, приехавшего в Новгород, да еще по такому

святому делу, как полюбовный третейский суд? Да как Дажбог вытерпел это страшное нарушение уважаемых обычаев? Как весь Новгород не вспыхнул от такого неслыханного оскорбления своего старшины-князя?

А сторяча Борислав забыл, что он оскорбляет не одних прямых противников своих, но в то же время вооружает против себя весь новый город. И народ в нем вспыхнул, только что разошелся об этом слух; хороводы расстроились, густая толпа обступила Гостомысла; а он кланялся в пояс Богомилу, прося его прощения за обиду. Один из толпы, горячая голова, по имени Вадим, крикнул: «Но кланяйся, старец! Не надо!» И весь город загремел тоже самое «не кланяйся!» Это значило, что вече берет дело на себя и расправится с оскорбителями. Старшина повиновался, выпрямился, поправил на себе шапку из черных соболей с красным верхом из цареградского шелку и велел к завтраму готовить ладьи. Кто-то крикнул было, что можно бы и сегодня снарядиться, но старшина повторил приказ, и спорить никто не смел.

К счастью Ловати, в новом городе было

несколько молодых людей, приехавших из-за озера на праздник. Они видели, что роду их грозит великая опасность; некоторые бросились в лодки и поплыли домой, чтобы повестить своих и успеть спасти что можно; другие видели, что врагов будет много, и с полуночи и с полудня, кинулись вниз по течению, подбивать тамошний род против Новгорода; третьи имели знакомства и связи с Весью, народом белоглазым, жившим от верховьев Мсты до Белоозера; несмотря на дальний путь и боясь, что ссора пойдет надолго, они пустились по Мсте, отыскивать союзников между Весью. Но большая часть молодых людей торопилась прямо домой через озеро. Они гребла изо всех сил, как будто новгородцы уже сели в свои лодки. Когда они выбрались в озеро и уже можно было поставить паруса, лодки сблизилась и пошли разговоры.

— Вишь, как осерчали! — говорил один.

— Разорят, братец ты мой, идохнуть не дадут! — замечал другой.

— А все этот Борислав, козлиная борода! Расходился на старости лет, а как-то придется расхлебывать?

— И ведь пособить-то некому: разве на Шелонь удариться?

— И то! Шелонь молодцы, народ озерной, как и мы, конечно нашу руку потянут, а на них новгородцы-то не очень горячо ударят, потому что за Шелонью Псков стоит: сила!

— Дело! Заворачивай, ребята, в Шелонь! У кого там есть рука?

Крутым поворотом рулевого весла две пары взяли на запад, в устье Шелони, впадающей тоже в Ильмень.

В одно время с Бориславом, плывшим домой не торопясь, в устье Ловати вошли и лодки вестников войны. Старшина-князь сначала не верил, потом говорил, что это все хитрость Богомила, что это он сумел поднять на него новгородцев. Но когда ему рассказали как было дело в Новгороде, он понял, что Гостомыслу нечего было больше делать, как велеть готовить ладьи.

Между тем народ собирался на вече, а это делалось не скоро, потому что селения по озеру и по устью Ловати разбросаны были далеко, а Бориславов род силен: в нем нашлось бы более полуторы тысячи домов. Сходке по на-

стоящему не о чем было рассуждать, потому что ссоры с соседями в то время происходили очень часто и всегда они кончались миром, только после сильной потасовки и тяжкого разорения иногда одной стороны, а чаще обеих. Справиться с Новым-городом нечего было и думать, особенно потому, что с другой стороны надо было ждать нападения Назьи. Поэтому, только что собралась на берегу порядочная кучка народу и Борислав спросил: кого же мир захочет выбрать воеводой, чтобы вести воинов, то поднялись согласные крики, обвинявшие его в том, что он погубил весь свой род, что теперь не до войны, когда врагов набирается пятеро и шестеро на одного. Старшине слышалось даже, будто некоторые голоса говорили: не выдать ли его Гостомыслу головою? Ясно, что надо было уходить.

По всему берегу поднялась суматоха неслыханная: ребята кричат, бабы причитают и бранят старшину за то, что он довел свой род до такой беды. Снаряжали лодки и в них укладывались рыболовные сети и немного добра, которое оставалось похуже. Все же, что было подороже: меха, цареградские моне-

ты, запасы хлеба — все было зарыто, как водится, с заговорами и волхвованиями, в лесу, в крепких и верных местах. Нельзя было взять на легкие лодки только коров и овец. За то в лес к пастухам были посланы два старика, отлично знавшие все места по берегу, чтобы перегнать стада на Шелонь, к соседнему и дружественному роду столетнего старшины князя Крока.

Целый вечер, всю ночь и весь следующий день лодки выходили в озеро к Шелони, а устье Ловати пустело. Старшина Борислав, по обычаю, должен был отплыть последним. Со страхом поглядывал он на озеро и торопил остальных своих родичей.

Новгородцы, выходя на берег, нашли только опустелые дома, кое-что из деревянной посуды, разную домашнюю мелочь, кое-где бродивших кур, которых заботливые хозяйки не успели переловить, и несколько празднующихся свиней. Прежде всего найдена была изба старшины и сожжена. Затем новгородцы рассыпались по берегу и подпаливали вдруг по нескольку лачуг; другие стреляли кур, и короткие стрелы их на близком рассто-

янии пронизывали насквозь испуганных пожаром хохлуш. Тут гурьба молодых людей свежевала свинью и готовилась ее жарить, а там другая толпа со смехом преследовала одичалого борова, осыпая его стрелами, и бедный зверь, на котором попавшие стрелы торчали новою щетиной, с визгом бросался в разные стороны. Здесь некоторые молодцы разметывают горячую золу быстро сгоревшей избы старшины и копаются под печкой, надеясь отыскать там что-нибудь запрятанное из дорогого добра; в другом месте пожилой огромный новгородец нашел отлично сделанный маленький деревянный меч-игрушку и смеется с товарищем над этим невинным оружием.

Так гуляли новгородцы, пока было что жечь и истреблять, а между тем избранный на этот поход воевода Моислав совеща́лся с охотниками, как бы пробраться в лес и там пошарить. Моислав был известным головорезом в Новегороде и за несколько лет перед тем сам вызвался сопровождать в Царьград проезжую варяжскую дружину. Там он поступил в греческую службу, много воевал, про-

шел огонь и воду и вернулся на родину. Подручным своим он выбрал молодого, но уже известного подвигами Вадима. Этот-то Вадим и вызвался пробраться через лес на Назью повестить тамошней молодежи, как оскорблен был в городе их старшина и как уже гуляют новгородцы на озере. Дело было опасное, потому что в лесу можно было наткнуться на засаду. Но Вадим охотно брался за это дело, а Моислав-воевода раз десять повторял ему, чтоб он отыскал только Стемира, который с варягами ходил, и сказал бы ему, что на устье Ловати ждет его безухий Моислав.

— Так и скажи: ждет Моислав безухий. Он уже знает. Ну, Дажбог тебе пособляй! Ступай, да так и скажи: ждет, мол, на озере сидит.

И долго после того по лесу бродили врасыпную и попарно новгородцы и богомиловцы и под густыми соснами и елями встречались с неприятелями, и лилась кровь, и совершались убийства... как будто людям тесно стало на земле. А простору девать было некуда!

В тот день, как с устья Назьи ушли на озеро лодки с Стемиром и его вооруженными то-

варищами, к стрелке приставал небольшой челнок. Когда он подтянулся поднятым носом к песчаной отмели берега, с кормы его поднялся высокий, худощавый человек, одетый в длинный, широкий балахон из толстого черного сукна. Из-под надвинутого на самые глаза колпака виднелось болезненно-бледное лицо с ясно-голубыми впалыми глазами и рыжею бородою. Тонкий, острый нос выдавался вперед, точно у покойника, а синие круги под глазами показывали, что путник истомлен далеким путешествием. Он медленно вышел на берег, отыскал глазами полуденную сторону неба, поднял вверх свои длинные руки в широких рукавах, прошептал что-то и упал ниц на песчаном побережье.

Через несколько минут поднявшись на ноги, он пошел по Назье, всматриваясь в лица попадавшихся навстречу людей и присматриваясь к избам, как-будто не в первый раз он пристал к этому гостеприимному берегу. В самом деле, это был варяг Рангвальд, лет за пять перед тем брошенный товарищами на устье Назьи. Храбрая дружина удальцов, отправляясь на службу или на добычу в Царь-

град, была на несколько времени остановлена болезнью одного из товарищей: он весь горел, сильно кашлял и был слаб, как малый ребенок. Видно, болезнь привязывалась и к железно-здоровым варягам. Товарищи оставили больного на попечение старухи Предславы, которая была лекаркой и вещуньей, и отправились дальше. Старуха поила его какими-то травами, настоенными на ключевой воде из громового ключа, кормила каким-то мохом, дула на него каким-то дымом, призывала Дажбога, Щура, волхвовала и поставила на ноги. Суровый варяг поправлялся долго и в то время, когда был еще слаб и едва бродил, возился с деревенскими ребятишками, научился у них говорить по-славянски, строил с ними кораблики, а когда совсем поправился, дело было уже к осени и ни один варяжский отряд не проходил по Ловати, по этому великому пути в Греки, так что Рангвальду пришлось зазимовать. В течение длинной зимы он помогал богомиловцам в охоте, забавлялся с ними в коляду, когда на стрелке старшина-князь, среди священных хороводов, сожигал чучелу Мараны, или смерти, или зимы,

после того, как солнце поворачивало на лето, а зима на мороз и дни становились длиннее. А весной, когда полая вода начинала спадать, он пристал в отряде проходивших варягов, ушел «в Греки» и теперь возвращался оттуда.

— Чей ты, малец? — спросил он ласково у ребенка, игравшего одиноко поодаль от других детей.

— Я перунов, — отвечал мальчик, спокойно налаживая какую-то нехитрую западню для ловли чижей. — Меня нельзя трогать, отойди.

— А твой отец кто? — спросил опять странник.

— Отец — Стемир, а мать — Любуша, — отвечал ребенок.

— Старые друзья! — сказал про себя странник, — а где ваш дом?

Мальчик тотчас бросил свою игру и побежал к дому, крича радостно: — Мать! Мать! К нам гость идет! — и очень рад был, что избавился от странника, наводившего на него страх.

Красавица Любуша показала на пороге своей избы и низким поясным поклоном при-

ветствовала гостя, придерживая одною рукой сынишку, который крепко зацепился за ее подол.

— Добро пожаловать, странник, — сказала она приветливо и дружелюбно, — хозяина нет, но и без него Даждбог поможет мне почествовать гостя.

В ту пору, как и теперь, славяне были очень гостеприимны; это требовалось обычаем и было тоже не без приятности. Наши предки жили отдельными родами, сносились с соседями очень редко и мало знали о том, что делается на свете. Гость, прибывший из далеких стран, своими рассказами приносил новые вести, от этого как-то светлее становилось и узнавалось то, чего прежде не знали; от этого гостя принимали всегда с почетом и с удовольствием. Славянину, по обычаю, позволялось даже украсть, если это было нужно для приличного угощения странника.

Гость поклонился ей не так низко и торжественно, медленно осенил ее крестным знаменем. Любуша смотрела на него с удивлением и приняла сделанный им знак за какой-то неведомый для нее прием волхвова-

ния. Однако, при этом она узнала старого знакомого.

— Уж не Рангвальд ли ты, старый приятель? — спросила она, всматриваясь в знакомое, но сильно измененное худобою лицо гостя.

— Я был, правда, Рангвальдом, — отвечал он неторопливо и спокойно, — когда еще благодать Божия не осенила мой бедный разум, а ныне во святом крещении раб Божий Родион.

Пока Любуша приготавлила ему ржаные лепешки и жарила окуней, Родион расспрашивал ее о сродниках, о том, что делает Богомил, давно ли вернулся Стемир, что делает добрая вещунья Предслава и две ее внучки; узнал и причину войны, которая затеялась с соседями, узнал и о Людмиле, молодой жене Путши (ведь мальчишкой был, как я собрался в Царьград), а когда речь дошла до того, отчего сынишка ее зовет себя перуновым, Любуша рассказала ему вот что:

— Это все по злобе Богомиловой жены вышло; она давно меня недолюбливает, а Стемира не было с нами: его варяги захватили и угнали с собой в Греки. Богомилова-то жена

бездетная, а у меня Хоринька-то вонь какой красавчик, купавый; и задумала она его погубить. Весною, в праздник Красной Горки, она возьми да и шепни Богомилу, что Хориньку моего надо принести в жертву Перуну; он, видишь ты, любит лучшую жертву. По слову Богомила, мир и выбрал Хориньку. Я — бежать. И знаю я, что малец мой русалочкой блаженной будет, Чуром праведным и могучим, что богу Перуну-Сварогу угодна будет такая жертва, да мне как без него быть? Ведь полоснут кривым ножом по этой-то беленькой шейке, и поднимут на колесо, и зажгут костер, и повалит дым, и затрещит костер, запылает, а народ мерно, по песне, забьет в ладоши. Каково это матери-то? Ушла я с Хоринькой в лес; вече нашу избу сожгло, вместо Хориньки зарезали белого козленка, а сынок мой теперь не наш, а перунов. Если гром его в это лето не убьет, так он опять будет наш.

Родион, слушая это, перекрестился и сказал:

— Отпусти им, Господи! Не ведают, что творят!

Подкрепившись обедом, Родион достал из

котомки своей образ Божией Матери, прикрепил его в уголку убогой хижины, сотворил перед ним продолжительную и усердную молитву, спокойно улегся на мягкой постели из еловых ветвей, покрытых овчинами, и заснул.

Любуша этим временем захватила с собой Хорька и побежала к ближайшей соседке своей Предславе рассказать кое-что о своем госте. Старый Улеб, муж Предславы, только что воротился с рыбной ловли и ел свой любимый овсяный кисель.

— И какой он стал чудной! — говорила Любуша, — точно как-будто и не он. Говорит, что он уже не Рангвальд, а Родион какой-то, а такого имени даже не бывает. Мудрено что-то такое говорит, а как поел да собрался спать, вынул дощечку небольшую, вот такую, сделал на себе знак и поцеловал ее. Я и думаю: заговор это у него от дурного глаза, что ли, от хворости, от бед и напастей в путешествии. Только после эту дощечку он привесил в углу и пал перед ней на колена. Поглядела я, и что же ты думаешь? На дощечке, точно как-будто вот когда в спокойную воду посмотришься,

так видно ясно: изображена Мать с Дитятею на руках. Лик у нее такой светлый, ясный, добрый, а младенец сидит, словно задумался, и смотрит, смотрит точно живой. Перед этой дощечкой как он стоял, как он шептал, как он преклонял голову к земле, это я тебе и рассказать не могу. Ведь мы знаем Рангвальда, что он за человек: жесткий, суровый, одно слово — варяг. Другим он стал человеком и в разговоре-то: мягче гораздо и по-женски как-то, ласковее. А перед этой дощечкой, перед образом Матери, — будто ласковый младенец какой перед матерью: и просит, и покоряется, и молит, и верит, и любит, и надеется... Нельзя рассказать, что это такое было: свет какой-то новый по его лицу прошел, и жесткого Рангвальда нашего ни за что бы не узнать... А Мать с Младенцем смотрят на него так мило-сердно и ласково... Очень хорошее что-то сделалось с нашим Рангвальдом, и не кудесничество это какое новое, не волхвованье, нет, ты, бабушка, этого не говори... Чудное что-то делалось и хорошее...

Предслава призадумалась и решила про себя, что это новый цареградский способ

волхвованья, которому ей, известной в целом крае вещунье и кудеснице, следует поучиться у гостя.

На другой день рано утром Предслава пошла навестить Рангвальда и, по обычаю, принесла ему гостинец, сот, наполненный янтарным душистым медом. Варяг показал столько радости при виде старухи, столько искренней благодарности за ее заботы о его выздоровлении, что вещунья удивилась. Суровый Рангвальд не был так благодарен и в то время, когда она только что поставила его на ноги, а с тех пор прошло целых четыре года, так что можно-бы успеть и позабыть.

— Вот Кто заплатит тебе в будущей жизни! — так кончил Родион, с благоговением смотря на икону, и, сложив руки, шепотом прочел молитву.

Предслава смотрела на него пытливо, но не спрашивала ничего, а решила прежде отвести гостя к тому ключу, из которого она умывала его во время болезни, и там, у громовой криницы, поговорить с ним по душе. Родион охотно согласился, и они пошли. Следом за ними пошла Любуша, а за нею, крепко дер-

жась за подол, маленький Хор. Внучки Предславины, заметив, что гость направляется к самой торной из всех лесных дорожек, к громовой кринице, пошли следом. Гостю надо было уважить хозяев и поклониться почитаемой в роде святыне, и этот обряд совершался всегда при местных жителях; они являлись туда без всякого зова, как на маленький семейный праздник. Эта криница, или этот ключ, по преданию, выбит был из земли стрелою Перуна, почему в нем и осталась навсегда часть живительной и целительной силы верховного божества. Некоторые из соседак, заметив направление гостя, не торопясь, шли туда же: им хотелось и гостя посмотреть, и оказать ему почет своим присутствием, и просто — провести полчаса в приятной беседе. Старый Улеб, налаживая свой челн, заметил куда идет народ и тоже потащился следом, бросив молоток и тростник, которым он законопачивал щели.

Громовая криница была у подошвы отлогого пригорка. Еще при дедах посаженные дубы разрослись великолепным большим кругом, а в середине, пуская корни в расселины

большого камня, из-под которого бежал студеный родник, разросся крупнолистный, раскидистый ольховый кустарник, обвешанный усердными почитателями Перуна. Тут были и цареградские давно вылинявшие ленты, сережки, золотые, серебряные и медные, и стрела, вынутая из опасной, но благополучно зажившей раны, и перержавевший меч, воткнутый в землю еще дедом нынешнего старшины-князя, и много разных мелочей. За дубами тянулся во все стороны темный бор.

Весело болтая, Предславины внучки догнали гостя, рассмотрели его подробно, подивились его широкому черному одеянию, его худобе и большому, острому носу, успели обогнать всех и напиться из журчащего родника. За ними подошла Предслава, подняла руки к небу и, шепча какие-то слова, поверглась ниц перед бьющею из земли струею воды.

Родион все время смотрел на нее с грустью и сожалением, а когда она зачерпнула воды и поднесла ее гостю, чтоб он напился и умылся, то он осторожно отстранил рукою берестяной ковш старой вещуньи и сказал:

— Бабушка, голубушка, отставь это, вылей

ты свою поганую воду! Это дьявольская вода! Я испил от родника истины, вкусил от вечной правды и вечного спасения и не стану осквернять себя поганым питьем языческим.

— Что ты, что ты, греховодник! — сказала торопливо Предслава, закрывая ему рот костлявою рукою. — Что ты толкуешь? Известно, в Царь-граде своя есть криница громовая, у нас своя, только она от этого не хуже стала, Перуном данная вода, а ты — и поворотился у тебя язык! — говоришь: поганая. Испортили тебя в Царе-граде, с толку сбили; а ты вот умойся, родимый, да попей, и пройдет.

— Не испортили, бабушка, а глаза открыли, да и не люди открыли, а Божья благодать просветила меня, — отвечал Родион, тихо взял старуху за руку, отвел ее на несколько шагов и уселся с нею на камне. — Потолкуем по душе, как ты говорила; а я, по правде сказать, за тем и из Царя-града ушел, чтобы толковать по душе со всеми здешними добрыми людьми и со всяким, кто может вместить в себе слова истины. Поди и ты сюда, Любуша, а Хорька своего подай мне: я покажу ему, за что человек должен держаться душою, что спасло

мир и всех людей. Поди ко мне, малец; вот символ нашего спасения...

Он ласково взял мальчика себе на колена, вынул висевший у него на шее серебряный крест и дал ему в руки.

— Это ты отчего же такое носишь? — спросила Любуша, — мой Хорь тоже носит на шее рыбий зуб, от лихорадки, и корень мать-и-мачеха от сглазу. А это что?

— Это крест, дитя мое, память крестного страдания и смерти Сына Божия, воплотившегося от Девы Марии. Я сам был так же слеп, как и вы, тоже ходил во тьме как приехал в Царь-град. Поступил я в варяжскую дружину и служил, и дрался, и вместе с товарищами справлял ваш зимний праздник, Коляду. Пошли мы раз вдвоем с товарищем так, от нечего делать, посмотреть, как этот самый праздник справляют греки. Нас впустили, без всякого спора, в большую каменную храмину, каких вы и не видывали: вдвое больше всего этого круга из дубов, и сверху всего этого крыша. Как мы вошли, так стало даже жутко, и по голове точно будто мураши побежали: все золото, все камни дорогие; народу тьма и все

молчат и слушают чей-то сладкий, мягкий голос... и дым клубится благовонный. Не успели мы осмотреться — запели. Где, кто запел, неведомо, только так сладко, тихо, вот как ручей журчит, когда возле него засыпаешь, и впросонках не разберешь, вода это по камням пробирается, птицы ли где поют... И как запели, так народ, сколько его там ни было в храме, пал на колена... И вот поют громче, громче, да так согласно, как будто с неба льется эта песня и всех нас обдает... Я вместе с другими пал на колена и забыл о нашем грозном боге Торе или о вашем сердитом Перуне, и душа моя почувяла, что все это ложь, обман, что есть иной Бог, истинный и всеблагий... Как служба кончилась и как мы вышли, куда пошли, ничего этого не помню. Душа у меня ныла и просила истины. Я ходил как в воду опущенный, пока меня не направил на путь истинный один старец, пустынный с горы Афонской. За ним я пошел бы на конец света: старец кроткий, мягкий, незлобивый, как грудной младенец. Так я познал истинный свет, истинного Бога, и жалко мне стало вас, добрых людей, блуждающих во тьме, и ре-

шился я идти к вам и открыть вам глаза. Все ваши боги, Перун, Дажбог, Тур, Велес, Дид, Ладо, все это ложь, обман...

Мало-помалу народу собралось довольно много; он расположился кучками вокруг Родиона и с любопытством слушал его речи. Никто на него за эти речи особенно не сердился, никто особенно не верил; и только от рассказа о страшном суде некоторым стало страшно; да еще дики и странны казались слушателям слова любви и братского согласия в устах сурового варяга.

Поэтому, когда слушатели расходились, они толковали вкривь и вкось.

— Совсем не тот стал человек, — говорила женщина соседке, — как будто вовсе и не варяг! Что это с ним сделалось?

— А вот видишь ты, — отвечала соседка, — лежал он у нас больной долго, нутро-то у него все и выболело, а Предслава, она ведь у нас хитрая, и вложила ему новое и утро, телячье. Вот он и раскис.

— Вот дуры-то, — заметил Улеб, услышав такое объяснение, — известно, что город, то норов. Это, что он говорит, цареградский

толк, больше ничего. Забыл свое, родное, вот и все. А насчет того, как там хорошо все это устроено, так это я не от первого от него слышу.

— Это у него с глазу, — говорила маленькая сторбленная старушонка своей дочери, крупной здоровенной бабе. — Предслава поправит его, это ничего. И не таких еще она поправляла...

Но слова любви, слова братского участия ко всем людям запали в некоторые сердца, как семя, брошенное в землю. Особенно Предслава и Любуша долго после того толковали между собой о перемене, какая случилась в их давнишнем друге...

Через несколько дней, когда Стемир воротился из похода и занялся заготовкою на зиму сена, Родион взялся помогать ему в этом с большою охотой. Но Стемир принужден был отослать его домой, потому что в его исхудалом теле оставалось очень мало силы: он скоро уставал и в сильной одышке часто садился на землю, чтобы перевести дух. Зато у него было много времени для беседы с Любушей и с маленьким Хорем. Он открыл Любуше, кто

та прекрасная Мать с Предвечным Младенцем, перед изображением которых он так горячо молился. Он уговорил Предславиных внучек не бояться играть с Хорьком, хотя он еще не вышел из-под руки Перуна. Он каждый день костлявою, белою рукою своею утром и вечером осенял Хоря крестным знаменем, и мать находила, что мальчик с тех пор становится здоровее, ест лучше и спит крепче. Только Стемир иногда дружески подсмеивался над Родионом и ни за что не хотел его называть иначе, как Рангвальдом. Предслава, закоренелая язычница, постоянно с ним спорила и не соглашалась.

— Бог так Бог и есть, — говорила она, когда оставалась с ним наедине, — только по твоему Бог никак не называется, а по нашему — Перун-Сварог, и у него два сына, Сварожичи: Дажбог — солнце красное и Огонь — кормилец...

— Не богохульствуй, язычница нераскаянная, — говорил Родион, — Бог един, вечен, всеблаг, вездесущ. Бог сотворил молнию, Перуна твоего, и солнце, и месяц, и звезды, и всех тварей, и человека...

Но старуха уже семьдесят лет признавала многих богов, и потому никак не соглашалась с цареградским толком.

А между тем Ловать была разорена, унижена и запросила мира. Богомил вернулся домой и затеял новую избу строить: оставалось только утвердить мир. И вот на Назье заговорили, что шелонский старшина-князь, столетний Крок, послезавтра будет сам и привезет мир, а с Назьи перевалит через озеро, свежет мир в Новгород. Поэтому приготавливались большие торжества. На стрелке складывали сухой костер; сытно откармливались баран, козел и белый петух для жертвоприношения, а женщины и девушки доставали наряды из лесных тайников; вместе с шелонским князем должны были приехать и гости с устья Ловати.

В назначенный день народ собрался на стрелке и после полудня на дальнем повороте реки показался челнок с белым платом на мачте, а за ним довольно большая ладья в шесть весел. На корме ее между двумя стариками сидел столетний шелонский князь с рулевым веслом и правил так же легко и силь-

но, как молодой рыбак. На нем была высокая шапка из черных соболей, чистая белая рубашка с красным кушаком, а сверху, в накидку, наброшен длиннополый кафтан из толстого серого сукна. Обут он был в лапти, искусно сплетенные из кожаных белых ремешков, и такими же ремнями опутаны были ноги почти до самых колен. Белые волосы и пожелтевшая длинная борода украшали умное лицо, изрытое глубокими морщинами и покрытое столетним загаром: Князь Богомил с стариками стоял у самого берега, в том месте стрелки, где должны были пристать гости.

Едва только княжеская лодка притянулась к отмели, два молодые гребца подхватили князя на руки, ступили с ним в воду, вынесли на берег и поставили. Старик медленно снял шапку, поклонился Богомилу, другой поклон отвесил миру, выпрямился и опять накрыл голову. По обычаю, Богомил и народ не отвечали на его поклоны, ожидая мирных предложений. Плывшие за его ладьею челноки сближались, но остановились один возле другого кучей, не приставая к берегу.

— Отец Богомил и весь честной род, — ска-

зал старец, — с устья Ловати от отца Борислава и всего его рода озерного поклон. — Старик опять поклонился. — Попущением Перуна-Сварога проливалась между вами кровь, и много пролито крови. Вспоминать ли, за что эта кровь проливалась? Если вы вспомнили, то мне непочто было к вам приходиться; а если вспоминать не хотите, то я привез вам мир и братскую дружбу.

Богомил отвечал:

— Ради шелонского князя и рода его, мы позабыли, за что проливалась кровь, а кто старое вспомянет, тому глаз вон. Из рук отца Крока принимаем мир и братскую дружбу на веки веков.

Тут он снял шапку и поклонился. В то же время захлопали в ладоши и закричали все люди на берегу и на лодках. Берег ожил; лодки гостей торопливо приставали к стрелке, и бывшие враги, дав слово не вспоминать старого, смешались в дружную толпу.

Старый Крок был принижен, когда просил мира; но как только обряд кончился, он занял принадлежащее ему и по старшинству, и как гостю, первое место. Богомил с поклоном вру-

чил ему жертвенный нож, когда они подошли к костру, где приготовлены были жертвы. Кругом толпился народ. Князь Крок затянул жертвенную песню, в которой славил обоих Сварожичей и просил их принять жертвы и передать их Перуну. Старики подхватили, а за ними грянул весь народ хором. В то же время хоровод медленно подвигался кругом, в направлении солнца. Когда жертвы были убиты и сложены на костер, оба старшины подожгли его с двух сторон и вместе с прочими стариками пали ниц перед огнем.

На другой день князь Крок простился с князем Богомилом и спешил в Новгород, который тоже ждал мира. По Ловати посольство спустилось благополучно, но на озере сильная буря разметала лодки, едва не потопила и сильно измочила пловцов. Старый Крок, весь мокрый, проделал и в Новгороде то же самое, что на Назье; но Гостомысл держал себя лучше Богомила: он не только отвечал на все поклоны старца, но еще раньше его снял свою шапку и ниже его кланялся. На крутой берег поднялся Крок, не останавливаясь и не переставая разговаривать с хозяином. Тут

узнал он, что в Новегороде собралось много старшин соседних родов, чтобы обсудить несколько важных вопросов.

Незадолго перед тем в порогах Волхова явился гонец с устья Ловати — требовать помощи против Новгорода и Назьи. За тем же самым гонец был на Мсте и поплыл выше — поднимать другие роды все на Новгород и хотел пробраться дальше, в Весь, на Белоозеро. Князья-старшины с вооруженною стражею решились сами побывать в Новегороде и посмотреть что и как. В то же время пришли послы из Пскова просить защиты против Изборска, который стал отбивать у псковичей всю озерную торговлю с Чудью и с Наровой. Случайно столкнулись они тут же с послами из Ладоги, с самого устья Волхова. Эти пришли просто за хлебом, потому что у них весь озимой посев в прошлую гнилую зиму вымок, так что урожая нельзя было ждать никакого. Так стариков собралось много, и было о чем потолковать. Особенно приятно им было толковать с Гостомыслом, потому что это был человек приветливый, стоворчивый, уступчивый, примирительный; он любил порядок и

терпеть не мог крутых мер. Не раз соседям случалось выбирать его посредником в очень важных делах и нередко удавалось ему помирить несогласных. И старшина-князь любил давать суд соседям, а его род, новгородцы, гордились своим князем. Соседние финские племена, Чудь, на невском устье, и Весь, на Белозере, считали его верным и надежным советником; и дальше к югу, по великому пути «в Греки», в Кривичах, в Смоленске и Полоцке, его имя произносилось с уважением.

В особой избе собрались старшины и представители многих дружественных родов; в ту же избу позвал Гостомysl и измоченного дождем и волнами Крока.

— Слава Перуну-Сварогу! — сказал входя в избу Гостомysl: — вот отец Крок привез нам мир с Ловати; одна обуза с плеч свалилась, и как-то легче теперь на душе. Просим милости, отец. Сядь да отведай медку: обогрейся.

Крок при входе поклонился во все стороны и сел на первую попавшуюся скамью. Почти все собравшиеся старшины были ему знакомы: с одним он воевал Чудь, с другим, лет сорок перед тем, три года сряду торговал по Вол-

ге, доходил до самого ее устья, до хозарского города Итиля; с третьим ходил на Каменный Пояс — добывать золоторогого тура, проходил два года, узнал доподлинно, что таких туров на свете нет, зато привез таких черных лилиц, каких до того не видывано; с иными просто встречался на совещаниях, а псковские посланники нередко гащивали у него на Шелони.

Сначала толковали о старине, о трудных временах; но Гостомысл повернул речь к делу.

— Нет, — сказал он послу, — а ты скажи-ка лучше, как это Изборск вас обижать стал? Говорят, торговать не пускает в Чудь?

— Изборск-то? А Изборск нос поднимает, вот что. Сам ты скажи: Изборск сыном приходится Пскову, или нет?

— Пуцдай сыном или хоть зятем. А что?

— А сын должен уважать отца или не должен? Ты скажи.

— И говорить нечего: без этого мир стоять не будет.

— То-то же. А они, изборцы-то, не стали к нам Чудь пускать. Изборск-то в узком месте

стоит и острова тут по озеру. Так они железото у них и скупают, нашим же хлебом им платят, да после нам же и перепродают. Годится это так делать? Скажи ты сам...

— Это точно, не по-соседски, нехорошо.

— Нет, что тут по-соседски! Ты скажи, из Пскова выселился Изборск или нет? Сыном он Пскову приходится, или нет?

— Постой, погоди, отец! — пристаёт старшина с волховских порогов, — приходит ко мне гонец из Бориславова рода. Так и так, говорит: Новгород идет войной на Ловать, а ты — выручать кидайся. Хорошо, думаю, а сам никак в толк не возьму — за что так вдруг война? Спрашиваю, из чего у вас дело пошло и как что было? Он и понес околесную; и Новгород у него загордился, и Назья старшинством похваляется, и то, и другое. Насилу я у него выпросил дело да и думаю: это чтоб я на моего друга закадычного, на князя Гостомысла новгородского руку поднял? Я ведь всегда по душе поступаю. Пойду прямо к нему, да спрошу: эй, хозяин, дяденька Гостомысл! Правда, что ты загордился, нос стал подымать?..

— Гордиться мне нечем, разве тем, что Новгород Великий почтил меня выбором в свои старшины. Я сам по себе ничего, а как Новгород, так и я. А если город против деревни немножко нос поднял, так уж тут ничего не поделаешь. В деревне жизнь не постоянная, опасливая, а в городе народ сидит твердо. Деревня так уже устроена, что мало-мальски вражда какая загорелась, — народ бежит в лес, или вдаль по реке, или вот как Ловать — через озеро. А город затем и поставлен, чтобы из него уже ни шагу, чтобы в случае беды в нем отсидеться можно было. Как народ срубил город, так и засел крепко, и избы себе поставил попрочнее, и богатство, у кого что есть, все на виду, потому что из города уж не уйдешь, не бросишь его врагу на сожжение. И немудрено, что город против деревни и постояннее, и крепче. Да не в том дело, а в том, чтобы деревни наши помирить, чтобы не было этого разоренья, как разорили нынче Ловать. Это хитрое дело, никак и ума не приложу. Чужих людей, да не соседей, помирить еще можно, между чужими людьми спор бывает прост и начистоту, так что его можно в трех

словах рассказать, а спор между родными не в пример труднее. Спорят и не соглашаются, кажется, о пустяках, об одном слове, а посмотришь поближе, так этого слова лучше и не тронь, а копай глубже. Доберешься до начала, и выйдет, конечно, вздор какой-нибудь, что две бабы за пустое лукошко подрались пять лет тому назад. И об этом бы, кажется, толковать нечего, да за бабьей-то дракой в пять лет накопилось, что в хорошем хлеву навозу, и жестких слов, и косых взглядов, и крупных обид, замешалась и зависть одного рода к другому, и гордость тоже: не хочу, мол, но только покориться, а чтобы и виду не было, будто я покоряюсь; знай, дескать, наших, и мой род не хуже твоего, и не только не хуже, а может быть и лучше... А разве вот как: если два человека в роде поспорят, то прямо идут к старшине и судятся. Старшина разберет все дело, выслушает, даст им наговориться всласть и рассудит дело по совести. Ну, это и хорошо. Если два рода поспорят, надо бы тоже к старшине идти на суд, да беда в том, что нет старшины над родами, и всякий род сам себе господин. Не раз случалось, и всякий из нас

это видал, выберут кого ни есть из третьего рода, отдадут дело ему на суд, и покорятся, и бывало, что спор оканчивался благополучно. Так не установить ли нам, чтобы кто ни есть из старшин решал все споры, и пусть уж ему покоряется всякий спорщик, если не умеет сам помириться...

Столетний Крок встал и низко поклонился хозяину.

— Спасибо на добром слове, — сказал он, — только уж уволь меня старика; вот скоро помру, так тогда пусть Шелонь идет в кабалу Новому-городу, а при мне нет, этому не бывать!

Встали и другие старшины, обиженные, гневные.

— Это выходит, чтобы Псков Новому-городу поклонился? Этак и мир стоять не будет!.. Нового-то города и в свете еще не было, как Псков был уже стариком...

— В кабалу мы идти не согласны!..

— Удружил! Наговорил! Бочку меду дал выпить да ведерко дегтю на закуску... Краснобай!..

— Спасибо за угощенье, князь Гостомысл;

да мы не рыба; крючок-то выплюнем!..

— Руки короткие, дяденька! Не забудь, что Волхов-то нашу мстинскую воду пьет!..

Гостомысл хотел говорить, вывернуться как-нибудь, но ему не дали. Среди шума и крика старшины вышли из избы. Второпях садились они в лодки, отчаливали, и уже начинали перебраниваться с народом, остававшимся на берегу.

— Плотники! — кричали одни.

— Луковники! — кричали другие: — луку, зеленого луку!..

— Ершееды озерные! — кричали третьи.

— Козла воеводой посадили! — слышалось с берега.

И лодки поплыли, и долго еще слышались бестолковые гневные крики.

Все лето ни войны, ни мира не было между родами, но не было и дружбы; похоже было, что быть войне великой.

Время приближалось к зиме. Заготовленное сено стояло в стогах; обмолоченный хлеб ссыпан был в ямы; охотники приготавливали разные капканы, ловушки и поставушки для лова пушных зверей. С юга, из Царя-града,

прошли три или четыре ватаги варягов, прослужив и поторговав «в Греках» года по три и по четыре. Отошло по этому случаю несколько шумных базаров на стрелке у Назьи, и приближалась пора, когда великий путь «в Греки» становился пустынным и глухим на целые пять месяцев.

В это время к старшине Богомилу нежданно-негаданно явился гонец от Гостомысла с чудинном Карном. Этого чудина прислали дружественные роды с устья озера Нево, Ижора и Водь, повестить о новом неслыханном деле: пришли варяги и на невских порогах стали рубить острог, как будто собирались зимовать. Никогда этого не было. Пройдут бывало, поторгуют или пограбят какую-нибудь мелочь, чего не успеют жители запрятать, захватят одного, много двух человек в работники, да и дальше. А тут острог рубят да и жителей сгоняют на работу!.. Чтобы рассказать точь-в-точь как бы дело, прислан и очевидец, гонец из Чуди, Карн. При таком необычайном случае, Гостомысл решил созвать большой совет поговорить о деле; для этого зовет в Новгород Богомила, а также Стемира, кото-

рый знаком с разными варяжскими хитростями и повадками. Стемир собрался тотчас и вместе с Богомилом поплыл вниз по Ловати. Только что лодка их собралась выйти в озеро, как навстречу — несколько варяжских ладей.

Такая встреча в позднее осеннее время была необычайна. Варяги пробирались к югу всегда в начале весны, пользуясь половодьем, во время которого дальше могли плыть по неглубокой Ловати, чтобы, спустившись по Днепру, успеть перевалить через море в Царьград еще летом, потому что осенние бури там опасны. Чего же им надо было теперь?..

Стемир легко узнал своего старого знакомого, конунга Труана, стоявшего на корме передовой ладьи, а с ним еще Рюара и Ивора, с которыми воевал вместе «в Греках». Они перезвали его в свою ладью и не останавливаясь пустились вверх по Ловати.

Стемир был очень рад увидеться с своими старыми товарищами и с конунгом Труаном. Года четыре тому назад они силою забрали его с собою в поход, но держали как товарища и, возвращаясь на родину, отдали ему часть добычи и оставили на стрелке. От них теперь

Стемир узнал, что на невских порогах в новом остроге осталось двадцать четыре варяга; повыше волховских порогов тоже заложен острог и в нем будут зимовать шестнадцать варягов; в Новегороде оставлено человек сорок; на устье Назьи тоже будет острог для зимовки, а остальные с самим Труаном пойдут дальше и остановятся в Кривичах, в городе Смоленске, оберегать волок и строить новые ладьи на Днепре. И все это делалось, чтоб облегчить великий путь «в Греки». Обыкновенно было так, что варяги, поднявшись по Ловати, перетаскивали свои ладьи по сухопутью в Двину, там плыли, и опять сухим путем тащили ладьи в Днепр. Чтоб избавить себя от тяжелой работы перетаскиванья лодок, они решились оставлять их в Ловати, переходить волок налегке, садиться в другие лодки на Днепре и плыть дальше. Но чтобы ладьи были безопасны, надо было укрепиться, спокойно и удобно зимовать. Труан уже не раз проходил по великому пути, знал места и хотел оставить Двину вовсе в стороне. Стемиру это очень понравилось: он с первого раза не понял, что если варяги осядут на земле, то уже

не уйдут, и придется всем родам, живущим по великому пути, им покориться. Ему казалось только, что приятно будет жить по соседству с добрыми товарищами, с храбрыми воинами, и что с ними можно будет еще раз-другой наведаться в богатую Грецию, поторговать там хорошо или пограбить, смотря по тому, что будет выгоднее.

Но пока они плыли по Ловати, начинались уже морозы; погустевшая вода текла лениво; по берегам, в затишье, окраины затягивались уже льдом, так что на устье Назьи пришлось остановиться. Труан приказал вытянуть ладьи на прибрежный песок, а за ночь Ловать покрылась уже тонким слоем прозрачного льда.

Так варяги в первый раз остались зимовать на Ловати. Это было в 859 году.

На другой же день, пока земля еще не совсем скована была морозом, Труан приказал ставить острог неподалеку от стрелки. Рубились столетние деревья, ветви с них обрубались, потом бревна стаскивались в одно место, и заостренные с одного конца, другим вкапывались в землю. Это была трудная и

мешкотная работа, и потому варяги тотчас потребовали помощи жителей. Богомил приказал своему роду помогать гостям, и работа закипела.

Предслава с утра отыскивала и поджидала Богомила; она не хотела подойти к нему, пока он толковал с варягами; но только что он освободился и пришел в свою избу перекусить, Прodelала остановила его на пороге. Она была страшна. Серые волосы ее были растрепаны; по лицу и по рукам сделано несколько свежих кровавых надрезов; глаза навывкате; загрязненное белое покрывало сдвинуто на сторону; босые ноги в крови. Взглянув на нее, Богомил остановился, будто окаменелый, и смотрел на нее с удивлением.

— Что ты делаешь, отец!? Что ты делаешь!? — говорила страшная старуха, — в кабалу варяжскую отдал ты свой род, в вечное рабство ты отдал своими руками и по доброй доле своих детей родных! Или ума ты рехнулся? Или Дажбог отвратил от нас навсегда лик свой ясный?..

Богомил еще с утра смутно понимал, что делается что-то неладное, и боялся самому се-

бе объяснить дело так ясно, как толковала его Предслава. Как обухом пораженный в лоб, опустил он голову, вошел в избу и как расслабленный опустился на скамью. Ему все стало ясно; он был зашиблен горем; он упрекал себя хуже, чем Предслава.

— Пусть-ка наши попробуют, — говорила старуха, — не пойти завтра на работу бревна таскать: ан не смеют не пойти, и пойдут, как рабы-полоняники, пойдут, оттого что старшина-князь своими руками в неволю их отдал. А если кто не пойдет, так они плетью погонят, как скотину; да и старшину погонят плетью на работу, чтоб он пример показывал своему роду, как надо повиноваться господину своему Труану.

— Что же делать? Что же делать? — шептал Богомил, ухватясь за голову. — Их не одолеешь! Такой людной ватаги у нас никогда еще не проходило!..

— Как что делать?.. Старшина-князь спрашивает старуху, что ему делать? Что на душе лежит, то и делай. Поди ты к Труану, снеси ему дары, поклонись ему и скажи: «Оставьте нас, мы народ бедный, мы народ малый, у нас

нет ни цареградских, ни хозарских богатств. Оставьте нас, мы любим свои леса, свои болота. На что вам они?

Ступайте, как всегда проходили, в Царьград, и пусть он хоть весь будет ваш со всеми своими богатствами, а нам оставьте только наши леса».

Бедная старуха не знала еще, что завоевателя нельзя отклонить словами, что варяги собираются осесть на великом пути, потому что им это удобно и выгодно. Но Богомил поверил старухе, собрал что у него было запасено беличьих и горностаевых мехов, взвалил все это на племянника и пошел с ним к тому месту, где работал его род вместе с варягами над постройкой варяжского городка. Там Труан сидел на бревне и с усмешкой слушал речи Рангвальда, во святом крещении Родиона, который говорил ему о вечном спасении, о будущей жизни и о суете всех благ мирских. В это время подошел к ним Богомил и отвесил конунгу, как гостю, поклон.

— Конунг великий Труан! — сказал старшина тихим голосом. — Что мы тебе сделали, мудрый варяг? Чем прогневили мы твою си-

лу? За что разгневался на нас твой род? Или мы злое что вам сделали? Или мы не соблюдали обычая и гостей-варягов принимали недружелюбно? Или мы не приютили больного варяга? Что мы тебе сделали? За что чело твое нахмурилось и, как Перун-Сварог, ты строишь на нас темную тучу, которая не пройдет ни от солнца Дажбога, ни от Мараны разлучницы? И чего вам надобно на бедной речке Назье? У нас нет ни парчей цареградских, ни золота, ни самоцветных камней. Лес наш родимый у нас, да пчелы, да зверь лесной дикий, вот все наше добро. Шкур тебе надо звериных? Вот я принес: бери, вставай и уходи, мудрый варяг! Не гоним мы тебя как гостя, конунг великий. Если любо тебе, то погости зиму, поживи, но не руби, не строй этого города. Гостям мы всегда рады; род мой велик; на десять дымов не придется и один твой войн. Живите по домам. Хлеба у нас вдоволь, рыбы у нас много, бараны есть жирные, медведи и лоси в лесах. Ловите их или род мой будет вам ловить, и живите в довольстве до весенней поры. Но не городите этого города, не рубите этого тына: всякая тычинка в душу нашу острым концом

впивается!..

— Что он такое говорит? — спросил Труан, обратясь к Родиону.

Тот перевел ему речь на скандинавское наречие и прибавил уже от себя просьбу о том, чтобы Труан оставил мирные берега Назьи.

— А что он такое принес с собою? — спросил Труан.

— Это подарки тебе, дары, — отвечал с упреком Родион.

Варяг своими руками перебрал и пересчитал каждую шкурку. Оказалось более пятисот шкурок беличьих и столько же горностаевых.

— А сколько дымов во всем его роде? Спроси-ка его.

Богомил отвечал, что в его роде четырнадцать сотен изб.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Труан, и встал, — так скажи же ты ему, что это я беру, а за зиму чтобы мне было добавлено, чтобы с каждого дома пришлось по белке и по векше. Теперь всего недостает девяти сотен. Так и скажи. Тоже скажи, что гостя гнать не годится, и что я стану гостить сколько мне надобно.

Горько призадумался бедный Богомил, выслушав перевод Родиона; потом слезы потекли по его щекам, голова опустилась на грудь: он весь задрожал и сел на землю там же, где стоял.

Но он мешал работникам, которые возились при постройке. Один из варягов, несший впереди других тяжелое бревно, толкнул его коленом в плечо и свалил старика, не замечавшего, что вокруг него делается. Родион помог бедняку подняться на ноги и отвел его домой.

Предслава пришла домой, разбитая горем. Внучки, увидя ее истерзанное лицо, испугались и бросились ее обнимать. Старый Улеб ждал ее с нетерпением. Она рыдала и с трудом отвечала на расспросы Таны и Люлюши.

— Бабушка! Милая! Расскажи, что же там на стрелке делают варяги? Убили они кого из наших? Или опять уводят в Царьград?

— Хуже, глупенькая! Дань наложили.

— Что же, бабушка? У нас всего много. Мы им дадим.

— Ну, вот видишь, что глупенькая! Не мехов жалко, не меду, но воску, а стыда и позора

жалко!..

— Не плачь, бабушка милая! Что же за беда! Им нужны меха, вот мы им и дадим, и больше ничего...

— Экая ты какая! Поймай ты вот птичку вольную, выдери ты у нее из крылышка одно перышко, — оно бы и ничего; а свяжи ты ей крылышки, или обрежь, да всякий день выдергивай еще по перышку, хоть из хвостика... Птичка ли это будет?

— Какая птичка, когда летать не будет?

— Ну вот так-то и мы. Жили мы волей вольною, как птички небесные, а вот пришли варяги, да крылышки нам и скрутили, и у всех у нас теперь руки связаны и подрезаны... Прошло золотое наше времечко!..

— Вздор мелешь, баба! — заметил тут угрюмый Улеб, — Ловать не потекла из озера назад в Кривичи! Земля славянская не вся еще вверх дном стала, и не все мы еще вымерли! Ну, пусть у нас на стрелке строится чужое гнездо: захватили нас эти варяги врасплох, и все тут... И всегда так бывало, что мы соберемся с духом поздненько, да за то крепко. Неужели таки у нас ни рук не стало, ни

мечей, ни топоров?.. Не тужи, баба, не убивайся! Вот и внучек моих в слезы ввела... Поди ко мне, Люлюша, поди сюда, Тана! Не верьте вы бабе! Прогоним мы этих рыжих, останемся опять одни русые на подбор. Не такова русая наша земля, чтобы не подняться, если Перуну-Сварогу и угодно было ее пригнуть...

И костлявыми руками своими он гладил русые головки внучек, и мозолистыми ладонями вытирал им глаза...

Стемир вернулся домой с работы довольно поздно и с горькою усмешкой сказал Любуше:

— Ну, моя бедная! Слышала?

— Дань положили, — отвечала сердито кроткая Любуша.

— И поработали мы всем миром по приказу... чего спокон веку не бывало, — прибавил помолчав Стемир. — Поработали, и на то спасибо не сказали, и завтра велели приходить на работу.

— Перестань, Стемир, горевать, а вот поешь-ка лучше: смотри, каких я тебе блинов напекла... Нашли рабов эти гости, чтобы на них работать! Да ведь недолго они погостят, Стемир? Правда? Ведь недолго? Ведь найдутся

у нас и руки на них, и копыя, и топоры?

— Вишь ты у меня прыткая какая! — сказал Стемир, дружески глядя на свою жену, — только не знаешь ты этих варягов, душа моя. Их немного, едва ли насчитаешь одного на нас десятерых, да сила в них велика. Обычны они к бою, и когда надо, то стоят так дружно, что будь хоть сто на одного, они не подадутся. У них такой зарок и закон постановлен, чтобы всякий раз одолеть; а у нас этого нет: и привычки нет драться, и недружно стоим. В драках своих, домашних, у нас всякий за себя стоит, будто от себя воюет, а они стоят и идут стеной, и ничем их не проймешь, пока всех до одного не переколешь. Ну, и мечи же у них хороши: своими глазами видел, как размахнется, так барана пополам перерубить и с потрохами совсем. Трудно, трудно будет нам справляться...

— Да ведь не в овечье же стадо они попали, — сказала Любуша, — неужели наши мужи, как бараны, будут смиренно протягивать шею, когда варягам вздумается пробовать свои мечи? Если так, то бабы возьмутся за топор, а то лучше не жить...

Поздно ночью пришел и тихо постучался в дверь новгородский молодец Вадим и до свету ушел куда-то. Порассказал он много невеселого: на Волхове в порогах варяги выбрали место, начали город рубить. Говорят: хотим погостить, а сколько погостим — неизвестно. Толкует народ, что будут рубить не город, а погост. Труан стал просить, чтоб помогли, а старшина и развесил уши. Сигнал свой народ, а кто-то и заупрямился, чуть ли не Лют, что так шибко торговал с Чудью белоглазою. Варяг ударил его под затылок, а он обернулся да и отрубил варягу руку. Скрутили его и привели к Труану. Для примера другим он этому Люту да еще девятерым головы снес, тела без голов закопали у самой стены этого нового погоста, а головы все воткнули на тычинки своего городка. В Новгороде было не так: Гостомысл встретил Труана как самого почетного гостя, а дружину велел разобрать по домам и угостить. Варяги заупрямились было, да он сумел как-то их умаслить. Выходит ни то, ни се, не то, чтобы покорился, не то чтобы в союз с ними вошел. На его голову оставили в Новгороде сорок варягов; будут они жить в сбор-

ной избе, а Гостомысл взялся сам поставить вокруг них тын, для всякого, говорит, случая. Труан заикнулся было насчет дани, по одной белке и по одной векше с дыма, а Гостомысл сказал, что он на это никогда не согласится, что для общего дела, для успешной торговли с Царь-градом этого мало и что он дает, вместо двух, по три шкурки от дыма, и вышло не дань, а дар. Он послал Вадима повестить всем, чтобы ласкать варягов как гостей и слушать как господ, чтоб они спали спокойно и, главное, чтобы привыкли спокойно спать. Когда придет пора, выберут денек и во всех новых погостах истребят варягов в один день. Гостомысл повестит когда это будет, а до тех пор сидеть смирно.

Когда лед на Ловати окреп, Труан оставил в новом городке человек двадцать с Ивором, собрал сколько можно было лошадей и уехал в Кривичи, туда, где Ловить, близ болотистых истоков своих становится мелка и уже не поднимает варяжской лодки. Там, среди небольшого славянского рода Кривичей, заложил он еще городок и отправился дальше, к Днепру.

Прошел праздник Коляды: шкурки в дань

собрали и отдали. Весенний праздник Красной Горки отошел нерадостно: варягов не встречали уже как проезжих купцов с цареградскими товарами, а как врагов, скрывались от них и только насильно отдавали хлеб и прочие товары. Отошел и Купальный праздник, и во время летних работ Ловать, и Назья, и Пороги начали мягче прежнего смотреть на чужеземцев. Многие ворчливые старики находили даже, что оно и не совсем худо, оттого что молодежь нынче вовсе от рук отбилась, все норовит ссориться, а при варягах нет, не смеет. А дань, говорили они, это пустяки: пару шкурок отдал и знать ничего не знаю, по крайности не боюсь, что придут какие-нибудь озорники соседи, да ни с того ни с сего выжгут дом. Другие не соглашались с этим. Пары шкурок не жалко, — говорили они, — в наши поставушки попадается зверя столько, что иной раз девать некуда, а главное дело, что они занозой у нас засели и надобно нам эту занозу вон выдернуть. У меня с соседом ссора, и никому до этого нет дела, я сам эту ссору покончу как знаю: захочу — помирюсь, не захочу — подерусь. Наше это дело и чужо-

му человеку не след мешаться...

Наступила опять зима. Самые деятельные люди ждали ее с нетерпением, посылали от себя гонцов к Гостомыслу, спросить: когда же? Но он все наказывал обождать, не спешить, чтобы всем ударить в один день.

И наконец этот день был назначен: положено снести погосты в тот самый день, когда на реках тронется лед. Так и сделали. В Новгороде, только что лед тронулся, против сборной избы стояли рядом сорок человек варягов, связанные по рукам и ногам. Они ждали, что сейчас же им одному за другим начнут снимать головы, потому что и сами так распорядились бы с своими пленниками. Правда, что они нередко продавали пленников в неволю, но только таких, которые были добры и послушны; а варяга никто не купит. Они ждали смерти без страха; они бранили своих победителей, смеялись над ними и всячески старались оскорбить, чтобы поскорее покончить дело. Вооруженная стража в три ряда окружала их плотною стеною, ожидая появления старшины. Наконец князь Гостомысл вышел. Он снял шапку и низко им поклонил-

ся.

— Почтенные гости! — сказал он кротко, — прошла ваша пора и настала наша. Но мы не желали и не желаем вам зла. Пока вы только проходили по нашему великому пути, мы жили мирно. Идите же и теперь с миром, но не возвращайтесь к нам больше: вперед мы будем «сами в себе володети» и вас к себе не пустим ни за что. Мы — русые люди и рыжих нам ненадобно. Ладьи готовы; мои люди вывезут вас за невское устье и там оставят на низменном Котлине острове. Придут другие варяги и увезут вас за море. Но скажите всему своему роду и всем варягам, что здесь нет больше пути в Греки, что кроме смерти варягу ждать здесь нечего. Простите, почтенные гости! Простите!

Он опять им поклонился и приказал вести их к ладьям.

Через два дня одно за другим стали приходить известия с варяжских погостов. Везде была сильная драка, везде погибло много славян, но варяги были все истреблены до последнего. С Назьи приехал Стемир, берегом, потому что лед на озере не пропускал еще

лодки, и Гостомысл принял его как родного.

— Ну, сказывай прежде всего, много ли наших погибло?

— Наших легло человек с лишком пятьдесят, а они легли все двадцать четыре.

— И как же? На копье взяли, или хитрость какую придумали?

— Как есть на копье. Разделились мы, вишь-ты, пополам: у старшины дружина, у меня дружина. Я засел в лесу, а старшина вышел прямо с берега. Ну, как водится, пустили стрелы с огнем, еще пустили по другой, по третьей. Человека два из варягов принялись тушить, а остальные выскочили и стали все в ряд, да на наших бегом. Пока они схватились, мы из лесу тоже бегом, да и окружили их. Ничего, жарко-таки было. Однако справились. После того мы вражескую избу разметали, город их изрубили, их всех в землю зарыли, тут же, на их погосте, а тела наших, как водится по обычаю, сожгли во славу Перуна-Сварога, всех вместе, и костер из варяжского города соорудили.

— Ну вот и слава Сварожичам! — отвечал Гостомысл, — остается одно великое дело: как

народу соберется от разных погостов побольше, то надо будет подумать: дальше-то что будет? Не пришли бы они расплачиваться, не вздумали бы они попробовать опять с нас дань собирать? Ведь с них станется, народ они упорный!

А между тем Гостомысл, не теряя времени, собрал из своих молодцов дружину охотников, человек в полтораста, приказал им засесть на островке, в том самом месте, где озеро Ново начинает течь к морю, и без пощады истреблять всякий отряд варягов, какой ни покажется. Вооружив их как можно лучше, он обещал им еще подмогу. Другому такому же отряду велел он засесть на устье Волхова, чтобы добивать тех, кто успеет проскользнуть мимо островка. Этот отряд он отдал Стемиру, потому что он знал все варяжские хитрости и повадки.

Ликование по всей земле было великое и праздник Красной Горки в этом году был так шумен и радостен, как еще никогда не бывало. На Назье старый Богомил как будто ожил: выпрямился его сгорбленный стан, опять засверкали его потухшие глаза, и собравшийся

на стрелке род с прежним почтением расступился перед ним, когда он в белой рубашке своей и в собольей шапке подходил к костру, воздвигнутому для жертвоприношений. Сначала он прочел обыкновенное воззвание к Перуну-Сварогу, а потом держал своему роду такую речь:

— Дети мои милые! Спасибо вам от всей земли за подвиг ратный. Спасибо. Великое горе было по всей земле: Перун-Сварог, во гневе своем, отвратил от нас лик свой грозный, ибо тяжко прогневали мы его. Не тем прогневали мы его, что весь прошлый год жертв не приносили: мы не смели, мы не были вольны, а только вольный народ может обращаться к Перуну-Сварогу. Раньше еще, всеми грехами нашими прогневали мы Сварога, и тем что жалели ему жертв, не давали ему избранников его, а приносили скотов. Прогневался он на нас и отдал наш род в руки варягов. Род избрал Перуну жертву; мы не хотели найти ее, хоть из-под земли достать, и вот в тот же год, припомните это, в тот же самый год варяги осели на великой словенской земле. О Перуне-Свароже! Как заслужить нам твою ми-

лость?

Старшина-князь поднял руки к небу и потом повалился ниц. Весь народ, сколько его ни было на стрелке, повалился вместе с ним. Все были в самом деле уверены, что Перун прогневался на них, и многие вспоминали, как в праздник Красной Горки, ровно два года тому назад, Перун избрал себе в жертву маленького Стемирыша, Хорька, и не получил своей жертвы.

Страшное молчание всего повергшегося на землю народа, по мнению славян, означало, что в это время Перун-Сварог выбирает себе жертву.

— Хорька! Хорька! — завопили вдруг многие голоса; весь народ подхватил это имя и поднялся на ноги.

А Любуша с Хорьком была недалеко. В один миг их разлучили, красавца-мальчишку внесли на костер, сверкнул острый кривой нож и алая кровь широкою струею потекла на дрова. Русая, кудрявая головка поникла. Огонь закрыл кровавое дело, и когда костер догорел, старуха Предслава внимательно подобрала беленькие легкие перегорелые ко-

сточки.

В это время Стемир, спокойно сидя в новгородской сборной избе, толковал со стариками различных родов. Умный Гостомысл направлял разговоры и вел дело. Все понимали, что надо было защитить и запереть вход на великий путь в Греки. Новгородцы одни не могли нести всей тягости защиты, и старики охотно соглашались, что все роды одинаково должны были вносить свою долю крови в дело общей обороны. Всем дружинам приходилось являться в Новгород и оттуда уже сменять сторожевые полки на озеро Нево. Решено было, что смена будет каждый месяц, а на первое время усилить сторожевые полки, чтобы сразу осадить варягов, если они снова попытаются завоевать себе великий путь. Старшины и старики были очень довольны таким решением и разъехались по домам, чтобы тотчас выслать подкрепления к новгородским сторожевым отрядам, а Стемир поплыл на озеро Нево. Но у старшин еще дорогою начали являться противоречия и неудовольствия. Шелонский старшина, преемник столетнего Крока, разговорился с своим племянником о

новгородском решении. Договорились до того, что племянник сказал:

— Ловок он тоже! Чужими руками думает жар загребать! Новгород, вишь, надо ему оборонить, так вся словенская земля слуг ему подавай, а он станет сам распоряжаться... Вот Труан какой нашелся!..

— Полно врать-то! — возразил старшина, — а разве Шелонь тоже дань не платила? Ты сам разве не приносил шкурок на Назью, на погост? Не кланялся варягам?

— Дань! Что же за важность дань! Отдал пару шкурок и прав, и знать ничего не хочу. А тут эти ершееды озерные, новгородцы, носы только поднимают, да вместо беличьих шкурок крови человеческой требуют, и все ведь на свою только защиту!..

Многие славянские роды сдерживали свою вражду из опасения варяжского вмешательства, а только что варяги были изгнаны, принялись за оружие. Жители Изборска и Пскова давно порывались посчитаться из-за того, что Изборск отбивает от псковичей торг с Чудью белоглазою. Старшина с реки Мсты давно собирался пощипать соседнюю Весь; но за что

именно началась между ними вражда, никто не мог бы сказать. Когда-то, вероятно, была какая-нибудь причина, давно всеми забытая, из-за этой причины была какая-нибудь месть с одной стороны, а потом, с другой, отместка, дальше и дальше и дело дошло до кровавой расправы. Затаенные ссоры разыгрались свободно, только что роды начали володеть собою. Прибавилось к этому неудовольствие на Новгород, который будто бы присваивал себе власть — распоряжаться вооруженными силами всей земли. Союзники не стали высылать в сторожевые полки обещанной помочи; другие роды думали принудить их к этому силой, и лилась кровь. К этому прибавились еще домашние неурядицы в родах. Так на Назье, Стемир, узнав о гибели своего кудрявого Стемирыша, вспыхнул как греческий огонь, прибил своего старшину-князя и едва его не убил. После долгого пребывания своего в Греции, он разучился принимать приказания Перуна за непреложные и отвык уважать старшину, в котором соединялась власть отца и верховного жреца. Многие земляки приняли сторону Стемира и загорелось междоусобие.

Бедной, убитой горем Любуше не стало житья в родном селе, и потому Стемир перевез ее в Новгород и отдал на попечение Родиону, который там нашел себе приют в семье самого Гостомысла.

Старшины, утомленные борьбою с соседями; в непрерывном ожидании нападения и конечного разорения, стали помышлять о том, чтобы как-нибудь привести дела в порядок. Первым приехал в Новгород, посоветоваться с Гостомыслом, старшина Богомил, едва поправившийся от полученных побоев.

— Житья нет, отец! — говорил он Гостомыслу, разводя руками, — молодежь вовсе от рук отбилась, передралась, перессорилась, разбежалась и, главное, отца своего знать не хочет...

— Что же, отец? — отвечал Гостомысл, — уже не лучше ли было варяжское время?.. Они хорошо умели мирить: без разговоров — голову долой!

Но мало-помалу вести приходили хуже и хуже: изборцы вплоть до земли выжгли Псков; шелонцы прогнали старшину и не дали ни одного человека в сторожевой полк на

озеро Нево, обвиняют Гостомысла и хотят воевать Новгород; Мста передралась с Весью; в Кривичах, близ Смоленска, легло с двух сторон почти сто человек лучших воинов; сам передовой и сторожевой полк провинился: отогнал двадцать четыре барана с волховских порогов; Меря наполовину ушла вниз по Волге, в Мурому...

В беседе, в сетованиях стариков однажды принял участие и Родион, прозванный в Новгороде варяг-голубиная душа.

— Есть у нас в земле варяжской, как и у вас, разные роды, — сказал Родион. — Сvei (шведы) часто воюют с англянами и ходят воевать в чужие земли; урмане (норвежцы, мурмане) часто нападают на русь, готы часто задевают и урман, и русь, и свеев. И много есть других родов, и часто бывает вражда между ними. И разный в этих родах обычай: у свеев обычай суровый и жадный до крови; да вы знаете их: Труан и его дружины были из свеев. Готы еще жесточе свеев, но на великий путь они, кажется, не заходили: им дорога в другую сторону, через море. А есть варяги — могучий род, хотя числом он не велик, и зо-

вут его русь. Обычай у них правду сказать, суровый, твердый, но справедливый, а главное дело — они умеют воевать по-варяжски. Словенские земли в военном деле поотстали от соседей, так надо догонять, а для этого надо позвать умелых людей, да у них и поучиться; мало ли найдется охочих людей, которые на мирное дело не годятся. Вот и пусть приучаются... Если вашей земле нужны защита и правда, то зовите их...

При этих словах в сборной избе поднялся шум неслыханный.

— И видно, что варяг! Гляди-ка что посоветовал! — кричал один.

— Нашел правду, от варяга-то? — кричал в то же время другой.

— Пусти их опять сюда, так век не выживешь! — вопил тут же третий.

— Они станут передовой полк держать! — заметил кто-то.

— Да он сам видно из Руси! Сказывай, русь ты или нет? — приставал кто-то к Родиону.

— Сами мы русые! — заметил еще кто-то.

— От Труана бы только защитили: придет, так всех вырежет.

— А полки-то для чего мы держим на озере? Оборонимся!

— Станем дома рыбу ловить, а они воевать будут! Платить станем по уговору.

— А точно, что воевать они здоровы!

— Наймем их, как Царьград нанимает, вот и все!

— Найми, поди, варяга! А он на тебя хомут наденет.

— По крайней мере порядок будет! А теперь что! Молодежь от рук отбилась.

— Да, узнаешь порядок, как голову снесут!

Крик и споры долго не унимались. Почтенные старшины охрипли, а Гостомысл сидел пригорюнившись и упорно молчал, пока наконец к нему не обратились некоторые из стариков.

Гостомысл дождался, чтобы собрание немного поутихло, и начал так своим тихим голосом:

— Господа старшины все сказали, а мне худому чего же еще говорить? Кто у нас справится с нашими порядками? В передовом полку народу у нас мало; осень на исходе; того и гляди, что нагрянет этот Труан, и тогда не

только Новагорода не останется, и кости наши подберет и в реку покидает. Прошу, молю: отцы старшины! Дружины мало! Одному Новгороду не вмоготу такие полки держать на озере. А если там не устоим, то вся земля пропала. А где же устоять, когда мы и драться-то не умеем, как соседи. По моему глупому разуму выходит так, что уже нам приходится нанять варягов и платить им, сколько там уговор будет. Мы им и льготы кое-какие положим, чтобы только сидели смирно да, главное дело, чтобы других не пускали на великий наш путь. Труановы варяги только мешали нам торговать и нипочем сбывали непокупное, невымененное, а награбленное добро. И немного им надо: если будем жить в мире, то немудрено будет наторговать так, чтобы по шкурке с дыма им заплатить. Главное, чтобы от Труана и его свеев оборониться, да нам самим поучиться воинскому делу, а порядок мы уже заведем. Правду сказал мстинский старшина, что они воевать здоровы; а мы тем временем дома стали бы рыбку ловить, хлеб сеять, торговать, а наши охочие люди поучились бы у них воевать. Видно уже такие вре-

мена пришли, что надо уметь воевать. А
впрочем, я знать ничего не знаю и решать не
берусь. Пусть отцы-старшины решают, толь-
ко нам без наемного войска, как хотите, пло-
хо!

Несколько дней сряду собирались старши-
ны, толковали, спорили до слез, десять раз
выслушали Родиона, который расхваливал
своих родичей, Русь, и наконец решили: не
дожидаясь заморозков, отправить на море
большое посольство, и с ним Родиона, разыс-
кать Русь и призвать их.

Так и сделали.

Весною 862 года от посольства явился в Но-
вегороде передовой гонец. Он извещал, что
Родион разыскал своих родичей, уговаривал
их немало и уговорил. С тремя дружинами
идут три брата и сядут один на Нарове, дру-
гой на Волхове, третий на Вытегре, чтобы ва-
рягам запереть все три пути в славянские
земли. Старший брат Рюрик: он сядет на глав-
ном пути, на Волхове; второй, Синеус, по Вы-
тегре или где-нибудь на Белоозере; третий,
Трувор, займет Нарву или где удобнее будет
на Чудском озере. Тогда Трувану и другим ва-

рягам — как ушей своих не видать великого
пути в Греки.





ПЕЧАТЬ УТИНОГРАФИИ
ГЕЛ. М. О. БОЛЬШЕ
ФОНТАНОВСКОЕ ПОУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1913